Леонид СИМАЧЕВ

ДВА РАССКАЗА

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

Сомнительную бутылку чачи он купил утром у источника. Был самый пик «водопоя». Мозаичная санаторная публика совершала свое броуновское кружение вокруг бювета. Все было степенно, вдохновенно, циклично и даже с какой-то обрядовой таинственностью. Лишь в местах торговли, вокруг энергичных кавказцев, иногда всплескивал бурлящий водоворот покупательских страстей и примерочных прикидок. Да две охрипшие тетки из конкурирующих фирм по очереди выкрикивали через постоянно отказывающие мегафоны из разных углов о всех прелестях автобусных путешествий по чудеснейшим местам Кавказских Минеральных Вод.

Мамалыгин, подыскивая желтые хризантемы, наткнулся на щетинистого деда, у которого на перевернутой ящикотаре вместе с редкими цветами стояло и несколько наполненных бутылок, прозванных в народе «чебурашками», безобразно заткнутых газетными скрутками.

— Что это?

— Чача, — хрипло донеслось из-под кепки.

Шел мелкий дождь. Мамалыгин подумал, что и в этом году не повезло с погодой, и взял бутылку в руки. Брезгливо вытянул намокшую газетную затычку и понюхал.

— Попробуй, дорогой... — откликнулась кепка. — За пятнадцать отдам.

По-божески, отметил Мамалыгин и сунул деду три пятерки. Прикрыв чачу цветами, он отправился в корпус, размышляя, что приехал недавно и стесняться еще некого.

В дверь постучали. Мамалыгин вздрогнул, но то была не она. Это зашел Юсуф, сосед по комнате.

— Водичку попил, пойду на ужин, — степенно доложил он. — Как договорились, Юра, вернусь в двенадцать.

— Хорошо, хорошо, Юсуф... Спасибо, — а про себя раздраженно: сколько можно договариваться, весь день об этом галдычу.

Но Юсуф и не намеревался уходить. Вытащил широкий чемодан, положил на кровать, чуть приоткрыл крышку, засунул туда руку и долго шелестел там, словно в сухой листве выискивая что-то.

— Вот, Юра, возьми невесте, — и протянул кулечек с вываренными в соли абрикосовыми косточками.

Пощелкал чемоданными замками, постучал дверками шкафа, намереваясь еще что-то сказать, но наткнувшись на мамалыгинскую нетерпеливую замкнутость, промолчал и вышел. А Мамалыгин высыпал косточки на стеклянную кувшинную подставку, еще раз окинул взглядом стол и пожалел шашлык, уже давно холодный и подернутый стылой свечной пленкой бараньего жира.

Познакомился он с ней вчера утром, когда его подсадили наконец за столик с его диетой. Она тоже была поджелудочница. Очень симпатичная блондинка с карими пронзительно-живыми глазами. Он еще отметил, что даже если бы она была лицом дурнушка, только из-за этих умных глаз стоило познакомиться. Звали ее Катя. В обед он с ней заговорил и предложил съездить в Кисловодск на электричке.

Горы были укрыты моросящим туманом, народу и экскурсий в парке было мало, а хвойные деревья влажно блестели, оттеняя желтизну непривычно пустынных терренкуровских дорожек.

Ходила она с удовольствием, напружиненно и быстро, и в таком темпе они рывком поднялись к канатной дороге, но она почему-то опять, как и в прошлом году, была на ремонте. Мамалыгина это огорчило. Теперь уже потихоньку они обошли пустынный «Храм воздуха» и забрались на какую-то вершину, и она нашла в зеленеющей еще траве какой-то желтенький цветочек.

— Юра, это не эдельвейс?.. — спросила она.

Цветочек больше походил на клевер, о чем Мамалыгин и сказал.

— Конечно, — согласилась она. — Просто я люблю желтые цветы.

Когда стемнело, они спустились к вокзалу, а потом про-

шли на проспект к фонтанам. Зашли в кафе и заказали мороженое.

Со сладостно-тоскливым чувством неповторимо уходящей жизни Мамалыгин смотрел сквозь стекло на цветные стреляющие струи фонтана, на искрящиеся от цветных отблесков прекрасные волосы красивой, сидевшей с ним женщины, которая говорила, что живет и родилась в Риге, отец после войны остался, есть муж и дочь, что их улицу переименовали, что муж гуляет, и она ужасно боится СПИДа: город портовый, что по знаку Зодиака она Скорпион, и завтра у нее день рождения... И когда он предложил отметить этот день у него в комнате — сразу согласилась.

Вошла она без стука: уверенно и упруго внесла себя к нему в комнату, и это было внезапно, и он вновь ощутил приятную счастливость от зыбкой пограничности их отношений.

— С днем рождения, — он поцеловал руку и несколько придержал ее у своей свежевыбритой щеки. Но нет, рука совсем не напряглась, не отдернулась, и он понял: она приняла его игру, они вместе забалансировали над некой, неопределенной пока, возможностью...

— Старый горец сказал, что это чача, — Мамалыгин поднял стакан.

Она понюхала и засмеялась:

— По-моему, это самая обычная Марыя Дэмчэнко...

— Что за Мария?

— А, была такая... — Знаменитый свекловод. — Она еще раз понюхала. — Обычный буряковый. У меня отец хохол и в этом разбирался... А тебе, Юра, можно?

Мамалыгин помял солнечное сплетение, словно прислушиваясь к своей поджелудочной:

— Я угробил себя на службе и совсем не этим делом.

Они выпили. Мамалыгин передернулся от противности этого пойла и вгрызся сразу в сочно-железистую мякоть хурмы.

— А где твой узбек?

— Ушел в ваш корпус пить чай с земляками. И попросил угостить тебя орешками. — Он быстро расщепил несколько остро-вертких косточек, отряхнул пальцы от соляной пудры и плеснул в стаканы еще этой неведомой жидкости.

— Ловко у тебя получается, — улыбнулась она.

— Что именно?

— Ну и то, и это... — Она разжевала орешек. — Вкусно, но горчит... Сноить меня хочешь? — в лоб спросила она.

— Да, нам же по семнадцать лет, — ответил Мамалыгин и взял ее за руки.

Она подалась к нему. Ее умные глаза подтаяли, острота взгляда расползлась по повлажневшему зрачку, и, прежде чем Мамалыгин прижал ее к себе, сказала:

— Выключи свет и ложись в постель.

Когда он подошел к выключателю, она, порывшись в сумочке, окликнула:

— И вот, возьми, пожалуйста, он импортный... Я действительно боюсь. Я сейчас всего боюсь... И не обижайся,.. — и, протянув ему презерватив, направилась в ванную.

Он услышал над собой ее дыхание, роскошные пахучие волосы ворохом упали ему на лицо. Он сплел свои пальцы у нее на затылке и потянул ее мягко на себя, ощущая на своих зубах ее ждущие, размякшие губы. И когда блаженство его всего обволокло, и он входил в него уже неосознанно, как в первый и последний раз, он с ужасом отметил, лаская ее, иступленно ему отдающуюся, что у нее нет грудей, и она это контролирует сейчас, и ловит его руки, и заводит их себе за голову, шепча ему давно не слышанные Мамалыгиным чудные и нежные слова...

Когда она вышла из ванной, Мамалыгин лежал еще в постели. Свет она не включила и присела к нему на кровать. Полоска света проползла из коридора в щель под дверью. Из холла доносился телевизионный хохот: шла очередная серия «Маппет-шоу». Туман, похоже, рассеялся, и в окно были видны тлеющие огни Пятигорской вышки телецентра.

— У тебя с балкона и Эльбрус видно?

— Не знаю, как приехал, все время плохая погода.

— А у меня северная комната. Ты пригласишь меня, как распогодится?

— Обязательно.

— Вначале одну удалили, — без перехода стала рассказывать она. — А три года назад и вторую. Про мужа я наврала, он меня сразу бросил... А мне еще и сорока нет, — грустно добавила она.

— Он русский? — зачем-то спросил Мамалыгин.

— Да... Несколько лет мужчин не было. На себе крест поставила... Но подруги меня решили вытянуть. Первый раз я

в прошлом году поехала в санаторий, в Одессу. Куда путевки достанут. Вот в этом году выпали Минводы... Попробуй, говорят, если будут соблазнять, — не отказывайся. Первый раз трудно было... Но я ожила. Тот, который до тебя сидел за нашим столом, даже замуж предлагал...

— Ты и с ним спала?.. — не выдержал Мамалыгин.

— Нет, он мне не нравился... С другим спала, но он уехал. — Она предупредительно приложила ладонь к его губам. — Ты не обижайся... Мне, может быть, и жить всего ничего осталось. Но я оклемалась, понимаешь... Оклемалась! И дочь моя это увидит, и образуется... Мы с ней конфликтуем последнее время. Она подросток, и моя ущербность ее угнетает.

— Отвернись, пожалуйста, — попросил Мамалыгин и стал одеваться. — Так у тебя и поджелудочная не болит?

— Нет.

— Тогда давай выпьем.

— Мне сегодня тридцать девять...

— Будь здорова! — и он нежно поцеловал ее. — Извини, а вот это что? — и он осторожно притронулся к выпуклостям под свитером.

— Муляжи, что-то вроде самодельных протезов, — и она горько рассмеялась. — А как женщина я тебе ничего?

— Блеск! Одни твои волосы чего стоят... — И он залпом выпил, и набил обожженный рот холодным шашлыком и подвядшими кружочками лука. — Ты не против, если от меня будет пахнуть луком?

— Ради бога, ты же мужчина...

Он проводил ее без четверти двенадцать. Перед этим она помыла нехитрую посуду, убралась на столе и прилежно, как солдат-первогодок, заправила постель и уже у двери сказала:

— Ты меня, Юра, не бросай, пожалуйста. Мне и осталось-то пять дней, — и, пряча порозовевшее от любви и чачи счастливое лицо в рассыпчато-желтые хризантемы, шагнула в коридор.

Мамалыгин сразу уснул и, когда пришел Юсуф, не слышал. Утром он спал долго. Пить воду не пошел. Не пошел и на завтрак. Долго стоял на балконе, смотрел, как медперсонал, одетый в черные фуфайки поверх белых халатов, собирает опавшие листья. Отсюда, с восьмого этажа, они походили на монахов и монашек, прибирающих монастырское подворье. Над большими деревьями и крышей водолечебницы

кружились мокрые стаи ворон. В воздухе снова висел моросящий туман, и окрестных гор видно не было.

Когда в столовую потянулась на завтрак вторая смена, Мамалыгин спустился тоже, подошел к диетсестре и попросил, чтобы его перевели питаться во вторую смену. Так ему, объяснил он, будет удобнее.

ИВАН ДА МАКРЕЛЬ

В доме, в котором жил Антон Григорьевич, проживало и несколько работников торговли. По вечерам, когда к дому, назойливо сигналя и подмигивая фонарем поворота, подъезжала мусоровозочная машина и жильцы, хлопая дверьми в подъездах и погромыхивая ведрами, гуськом тянулись к ней, — Антон Григорьевич, сталкиваясь порой у полязгивающей, в грязных потеках машины с тружениками орса или общепита, невольно косил глазом на содержимое их мусорных емкостей. По обилию птичьих голов и яичной скорлупе, по редким шкуркам цитрусовых и конфетным оберткам, по желто-белым и бело-фиолетовым банкам из-под китайской говядины и ветчины, по прочим донельзя забытым атрибутам давнишней жизни иногда можно было определить: что поступило, или что еще осталось, или чего уже никогда не будет в таинственных закромах небольшого голодного городка. В первое время возникало естественное желание сделать замечание, чтобы прикрывали, не раздражали людей, но как-то, в обеденный перерыв, он зашел в пустой универмаг и увидел терпеливо толкущегося обэхэсэсника, к которому из темных сусечных коридоров вышагивала заведующая с парой небрежно завернутых в куцый обрывок шуршащей бумаги женских сапог под мышкой. Презрев редких посетителей, тот взял шуршащие сапоги, вышел из магазина и уехал в собственном авто. И вот тогда Антон Григорьевич окончательно понял, что — все, наступил беспредел, и каждый крутится как может. Каждый теперь, не связанный с той или иной кодлой, выживает в одиночку.

А в тот морозный вечер, стоя у тускло освещенного развернутого зева мусоровозки, он вдруг заметил знакомый просверк сине-зеленой баночки из-под скумбрии сахалинской, сделанной на экспорт, с интригующим, как виноградина во рту катающимся названием — макрель. И вспомнил Ваньку Портнова.

С Ванькой они проплавали два долгих рейса. Антон Григорьевич был вторым штурманом на китобойце «Бойкий», а Ванька стоял с ним вахту рулевым матросом. Ревизорская — так величают вторых помощников капитана — вахта на судах называется собачьей: с ноля до четырех утра, а летом она приходится на самую жару, когда океан высверкивается бесчисленными бликами, острой резью выедая через бинокольные линзы мокрые от пота глаза. Когда наблюдатели, вжавшись глазницами в мощные бинокли и поделив океан по секторам, рассядутся по углам капитанского мостика, повернув к Антону Григорьевичу, стоявшему в центре, свои обшелушенные спины с обильными дорожками пота, стекающего по узелкам позвонков.

Ванька Портнов — невысокий, плотно сбитый сибиряк, с остриженной наголо головой и голубыми хитрыми глазами деревенского пройдохи, — уверенно-размеренными движениями огромного кулака, в котором зажат рычаг рулевого управления, ведет китобоец по курсу, выработанному на обеденном капчасе. Но китов нет. Жарко. Штурман и матрос в рубашках. Тогдашний «кэп» «Бойкого» не разрешал заступать на вахту в одних шортах.

Ближе к четырем зной спадает, слюдяное марево густеет, приобретая иззеленя-синие оттенки на фоне редких молочных облачков. В это время обычно проступают миражи. То наплывал откуда-то с бело-клубящегося неба черно-коричневый японский танкер, широкий, осевший и тупорылый, то — пустой сине-белый сухогруз, с высоко задранной красной ватерлинией, дымно трубящий за канадским зерном. Кроме миражей наблюдатели замечали и что-нибудь существенное: то старый, блекло-оранжевый от накипевшей на нем соли, спасательный плот, который уж год кочующий по близэкваторным широтам, то — позеленевшее от рачков и мочалочной плесени водорослей огромное бревно-топляк, с сидящими на нем чайками. В такие минуты играли аврал, предварительно уговорив капитана, что это будет недолго — ну полчасика. Боцман несся в подшкиперскую, вытаскивая припасенные заранее акульи снасти: крупные кованые крючки на поводках из стального тросика. А повар из своей кандейки — тушки предварительно сваренного и замороженного кальмара для наживки. И Ванька Портнов, отпуская чалдонские прибаутки-

присказки между командами Антона Григорьевича, нежно подчаливал к осиротевшим без людей океанским трофеям.

Почему-то вокруг брошенного в море любого более или менее крупного плавающего объекта всегда водилась в южных широтах стая-другая здоровенных макрелей. Жемчужно пузырясь в зеленоватых водах, они подныривали под облезлый плотик, схватывая с днища рачков и моллюсков, и уходили кругами на глубину, играя в скудной изрябленной тени маленького плотика.

Стопорили машины и, дрейфуя вместе с плотиком, ждали, пока напуганные рыбы вновь вернутся к своему пристанищу. И вот зыбкий промельк белесой тени из глубины... Один, второй...

— Давай! Давай!.. — кричали с мостика.

Человека два-три из команды широко взмахивали над головой, как арканом, скрученной в кольцо снастью и кидали в направлении вышедшей из нутряной темноты на атаку рыбы. Большинство забросов были холостыми. Макрель брала наживку как-то лениво, вяло, по какой-то заведенной в стае очередности. Она не кидалась кучей на розоватый кусок кальмара, а как бы отторгала из своего окружения одну, и та по дуге плавно заходила на погружающуюся наживку. Непосредственно бросавшим с палубы это не было видно, и с мостика вновь кричали:

— Тащи! Тащи!..

У кого-то веревка в руке вздрагивала, напрягалась, и тогда остальные кидались к нему на помощь. И быстро, в несколько пар рук, выбирали слабину, подводя рыбину к борту. Затем, на «раз-два-три!», выдергивали ее из воды: золотисто-брызгающую, остромордую, с удивленно-фиолетовыми глазами и литым пудовым телом, сочно бьющимся по палубе.

— Ванька! Ванька!? Где Выключатель?.. — поднимали все лица к мостику и тут наступал Ванькин черед.

— Григорьич, можно, а?.. — поворачивал тот голову к Антону Григорьевичу, проявляя положенную субординацию и тот служебный ритуал, который становится обыденностью.

Антон Григорьевич молча брал из его рук «рулевку», а Ванька уже гремел ступенями трапа, на бегу стягивая с волглых плеч пропотевшую рубаху.

Внизу он срывал с пожарного щита увесистую кувалдочку, клал ее на плечо, как бы наизготовку, и, косолапя, подкатывался к подпрыгивающей макрели, замирал на мгновенье

над ней, как медведь на берегу реки над нерестящейся горбушей, а потом неуловимо четко тюкал кувалдочкой в рыбью голову, словно в подкову на наковальне. И рыба сразу засыпала. Выключалась, как говаривал боцман. Отсюда и прозвище у Ваньки, претерпевшее, правда, к концу рейса изменение. Ключник — звучало короче и по-сибирски ухаристее.

Так Ванька и перетаптывался на палубе с кувалдой на плече, пританцовывая над очередной жертвой, пока «кэп» не давал команду: — Хватит! — и китобоец, взревев дизельным нутром и взбив винтом бурун за кормой, резко дергался с места в погоню за ушедшей вперед флотилией.

Буфетчик с поваром и другие охотники принимались потрошить тот десяток рыбин, что успели выдернуть, а потом за хвосты волочили их на камбуз.

После костлявой, изрядно провонявшей на летней жаре баранины, затхлых и слежавшихся макарон, когда даже в манной каше за завтраком всплывали маленькие белые трупики червячков с черными головками, свежая жареная рыба на ужин — это праздник живота.

По ночам флотилия часто лежала в дрейфе. На судне тогда стояла ватная тишина, нарушаемая лишь глухим позвякиванием ключей и постукиванием металла где-то там, внизу, в машинном отделении: это механики занимались очередным ремонтом. Штурманская же служба расслаблялась. Антон Григорьевич приносил на мостик кофеварку и набивал в трубку хорошего табаку. Они пили кофе, и Ванька в такие ночи любил попутешествовать во Вселенной. Он спрашивал названия созвездий, по-августовски ярко зависших над головой; так жгуче они светились, что, казалось, был слышен неведомый звон от них, гудящий над сонным океаном. Порой Антон Григорьевич не мог определить так просто ту или иную звезду, понадобившуюся Ваньке, и тогда спускался в штурманскую за звездным атласом. К концу их совместного плавания Ванька уже мог прилично определяться по звездам и страшно гордился этим. А еще он любил помечтать о том, как после рейса поедет домой в деревню к старушке матери, где не был много-много лет. Как призвали на службу во флот лет десять тому назад, так и не может вырваться из Владивостока. Поначалу хотелось заработать денег, и после службы устроился на краболов. И все бы ничего, да подвела после путины хроническая наша рассейская болезнь — запой.

Не успел еще краболов у стенки отшвартоваться, как появились какие-то друзья до гроба, подружки вусмерть и прочая портовая шушера. А водку пить Ванька как-то не научился: как начал посреди осени, так к весне только и проснулся, без денег, без шмоток, на серой подушке без наволочки, с осипшим голосом и больным измученным телом, будто трактором перееханным.

— Вот знаю, Григорьич, знаю такую свою бесхарактерность и вроде готовлюсь к приходу — а ничего не получается! — Ванька смачно выругивался. — Обязательно где-то, у кого-то зацеплюсь...

Антон Григорьевич это знал, ибо после первого рейса насмотрелся вдосталь. И советовал Ваньке, как нужно не зацепиться. И придя на берег аккурат перед ноябрьскими, он самолично отогнал от Ваньки всех бичей, и в праздничные дни водил его по кинотеатрам Владивостока. Ваньке тогда очень понравились два фильма: итальянский, про комиссара полиции с Франко Неро в главной роли, и особенно — «Солярис».

После праздников получили расчет. Вместо денег Антон Григорьевич выдал Ваньке расписку, а деньги положил себе в сейф и сказал, что как раздаст зарплату остальным через два-три дня, так и поедут в аэропорт брать билет до Томска.

— Спасибо, Григорьич, — говорил Ванька. — Ты — человек, Григорьич...

Но первой же ночью он его разбудил. Смотрел светло-бесстыжими пьяными глазами и просил полста рублей. Антон Григорьевич его с трудом прогнал. Но на следующий день он пришел еще пьянее и теперь просил уже назойливо:

— Григорьич! Будь человеком... Ты же меня в мироздании научил разбираться!.. В миро-о-оздани-и-и... — слезно канючил он. — Я в кабак только схожу...

Вечером того дня, поднимаясь после ужина к себе в каюту, Антон Григорьевич увидел выбитую филенку в двери и в каюте стоявшего в задумчивости у сейфа Ваньку, с кувалдой на плече.

— Я только свои, Григорьич... Только свои... — одурманенно бормотал он.

И Антон Григорьевич сломался. Открыл сейф и кинул Ванькины пачки тому за пазуху:

— Кувалду отнеси на место, Ключник...

— Счас, Григорьич... Счас!

И закрутилась веселая жизнь. Ремонтировались они в Дальзаводе. Недалеко от проходной была закопченная столовка: знаменитые «Рваные паруса». Иногда Антону Григорьевичу приходилось там питаться и почти всегда встречать Ваньку с шумной ватагой портового люда за сдвинутыми вместе замусоленными столиками. Ванька опускал книзу окончательно вымокшие глаза и говорил: — Прости, Григорьич...

Магазины Владивостока и Находки в ту пору были заставлены всевозможными сортами болгарских вин, югославским виньяком и тремя видами жгучего рома. Один — ямайский, в литровых бутылях, с симпатичной мордашкой негритоски на апельсиново-теплой этикетке; он пах шоколадом. Другой — болгарский, в небольшой аккуратной посуде, по бортам которой плыл куда-то синий индеец в пироге, с перьями на голове; его вполне можно было принять за Харона. А третий, самый дрянной, назывался просто — «Ром Негро», с ядовито-красной наклейкой на бутылке, этот пили, когда вообще уже пить было нечего. Мало того, им похмелялись. Выше столовки, у трамвайной остановки, стоял «Гастроном», открывавшийся в восемь. На судах были, как правило, свои постоянные гонцы, умеющие достать выпивку и в пять-шесть часов утра. Это уже — высший класс.

Спустя месяца полтора такой жизни с Ванькой приключилась горячка. Антона Григорьевича на судне не было, отдыхал: вахту в ремонте стояли сутками. Среди ночи Ванька вдруг выбежал из кубрика на палубу, косолапо прыгая и что-то крича. Разделся на морозе догола. Когда вахтенный помощник с матросом бросились к нему, ничего не понимая, Ванька схватил со щита привычную кувалдочку и стал отмахиваться ею, как нунчаками, дико озираясь по сторонам в слабоватом свете дежурного прожектора. Потом внезапно отбросил кувалду, подпрыгнул, ухватываясь руками за ванты, и по ним, как обезьяна, на одних руках поднялся на мачту и залез в марсовую бочку. Прибежали вахтенные с соседних судов, и, по глупости, боясь, что замерзнет, полезли следом за ним уговаривать. И не заметили в тускловатом мраке, как Ванька-ключник сиганул ласточкой вниз. Только услышали хрусткий удар, словно кто-то бросил им на палубу мерзлый кочан капусты с высокого борта рядом стоящего сухогруза.

Похоронив Ваньку, Антон Григорьевич втайне думал, что не от индейца с перьями и топором полез на мачту Ванька,

не от оскаленного страшного негра, рвущегося за ним по пятам, а залез посмотреть на звезды, посмотрел и нечаянно сорвался. Так, по крайней мере, ему хотелось думать.

А перед самым Новым годом в дверь каюты постучали.

— Вот, — сказал вахтенный матрос, поставив обшарпанный, в металлических блестящих уголках, чемоданчик у комингса, и как-то боком, боком удалился.

Перед Антоном Григорьевичем стояла старая махонькая тетка в мышиной плюшевой жакетке, в вытертых валенках с галошами, с коричнево-клетчатым платком на голове и плечах, кисти которого она теребила мокро-красными от снега руками; она смотрела на него портновскими глазами и говорила: — Мне Ванька бы Портнова повидать... Ванька...

За окном, заурчав и посигналив на прощание, отъехала мусоровозка. Антону Григорьевичу захотелось выпить. Он знал, что дома ничего нет, но все равно открыл шкаф. На полочке лежала стопка неотоваренных талонов, в том числе и на водку. На глаза попала трубка. Из-за полной безнадеги как-либо доставать табак он еще летом бросил курить и довольно легко разрыв с куревом перенес. Посасывая трубку, прошел на кухню. В холодильнике стояло полбутылки денатурата. Престарелый родитель Антона Григорьевича натирал им свои ревматозные колени.

Антон Григорьевич налил с полстакана вонючей голубоватой жидкости и поднес стакан к светильнику; на свету денатурат искристо бликовал, как только что выловленная макрель. Выключил светильник и подошел к окну. Когда глаза привыкли к темноте, попытался увидеть за стеклом хоть одну звезду, но морозный туман густо затянул декабрьское небо. «Двадцать лет прошло, двадцать лет... Царство тебе небесное, Иван Портнов», — тихо произнес Антон Григорьевич, перевернув содержимое стакана в рот. И сунул в зубы искусанный мундштук пустой капитанской трубки.